

Любовь на треке

И опять поворот судьбы. Никогда бы не поверила, что меня забросит в Америку. Семь лет в Италии протекли как одна минута. С трудом вспоминаю лазурное море с белым парусом, Дуомо на верхушке горы. Здесь тоже горы, но другие — безлесые, каменистые. Свободно раскинулись вокруг широкой лощины. Несколько дней назад на них лежал снег. Но сегодня они снова песочно-бурые, солнце шпарит, словно и не октябрь вовсе. Это Юта. Говорят, в Калифорнии сейчас дождь, и в Бостоне тоже, из Москвы слышно, что и там дождь. А здесь, на Диком Западе, жаркое, почти летнее солнце и никакого дождя. И я иду по треку. Поглядывая на дальний план — горы. Обегая взглядом ближние лужайки, домики с садиками и бассейнами, идущих мне навстречу улыбчивых людей. Я свободна. Мне хорошо. Сегодня воскресенье. Я дышу чистым горным воздухом и подставляю лицо солнцу.

— Excuse me! — слова произнесены как-то странно, с сильным акцентом. Я поднимаю голову. Рядом маленький человек в синей спортивной форме. Он улыбается, но взгляд грустный.

— Excuse me, — он замолкает, подыскивая слова. I am... am from Columbia. Видимо, он принял меня за латиноамериканку. В Италии я сходила за итальянку, в России пару раз меня принимали за армянку. Интернациональный еврейский тип, со слегка приглушенными семитскими чертами.

— I am from Russia, — привычно произношу я и поспешно добавляю: — Conosco Italiano.

Человечек оживляется.

— Sono Luis, — представляет он себя.

— Sono Anna, — говорю я. — Have a good day. И продолжаю свой путь по треку. Маленький Луис бежит в противоположном направлении. Минут через десять мы снова пересекаемся. Луис уже издали улыбается.

— Sono due years in America, — показывает он мне два пальца. Он говорит, как человек, впервые раскрывший рот после долгой немоты. Странно, что за два года он совсем не овладел американским. Смешивает в кучу два языка. Сейчас я говорю примерно как Луис, но я здесь всего два месяца.

— Sono single, — продолжает Луис, — alone, — он смотрит вопросительно.

— I am married, — говорю я в свою очередь. — Husband? Yeah, — я киваю в сторону теннисного корта. — Husband, yeah, husband here. Tennis... — и я ударяю по воображаемому мячу. Луис смотрит странно, словно не поверил мне или не понял. Не верит, что я замужем? Я снова иду по треку, а Луис бежит своим путем. Не пройдя и десяти шагов, сворачиваю к теннисным кортам. С одного из них доносится громкая американская речь. Я воспринимаю ее как единый звуковой поток. С другого слышится: «Молодец, браво». Быстро иду ко второму корту. На трек я больше не возвращаюсь.

Следующее воскресенье снова солнечное. Оставила в машине взятую на всякий случай куртку. Быстрый шаг разогрел меня и взбодрил — настроение поднялось. По дороге как назло попадались сердитые старушки, хмуро цедившие «morning». Луиса я заметила издали. Он бежал навстречу и махал руками.

— Hello, — приветствовала я его, — tutto bene?

— I have... muchos, — сказал Луис, указывая на себя и что-то изображая взглядом.

— Мучос? — переспросила я, — в итальянском похожего слова не было. «Muchos, muchos», — лицо явно выражало страдание. Может, его что-то мучит? — в голову пришло русское созвучие. Неожиданно Луис схватил мою руку и быстро поцеловал. Я рассмеялась:

— My husband is here, Luis. He can see us.

— Husband? — Он показал на мою руку. Видимо, его смущало отсутствие кольца. С кольцом или без кольца — какая разница? Мое кольцо лежит в Москве, в шкатулке из капо-корешка, подаренной мне свекровью, Лией Михайловной. Я повторила для верности два раза:

— I am married, Luis, I have a son.

Он смотрел недоверчиво. Я сразу же направилась к корту. Игра в этот раз не ладилась, и сын согласился пройтись со мной по треку. К тому же ему не терпелось увидеть моего «мексиканца», как обозначил Луиса муж. Для мужа Мексика и Колумбия — один черт. Луис приблизился внезапно, так как мы с сыном увлеклись беседой. Он усиленно улыбался и радостно махал руками.

— This is my son, — я представляла Луису Гришу как «вещественное доказательство» моего замужества. Луис кивнул и снова сказал это непонятное слово «мучос». Когда он убежал, я спросила Гришу:

— Что такое «мучос», как ты думаешь?

Гриша без запинки выпалил:

— Много. «Мучос» по-испански значит «много».

Скорее всего, он слышал это слово от школьников-мексиканцев. Но если он прав, что же все-таки хотел сказать Луис? Что у него много чего? Переживаний? Мучений? Денег? Ну, денег, по всей видимости, у него совсем нет. Гриша, сверхвнимательный ко всякой машине, заметил, что Луис сел в потрепанный старый «форд».

— Драндулетка 80-го года, — Гриша засмеялся. — Смешная машинка.

И он похоже передразнил бег Луиса и его махание руками.

В следующее воскресенье я встретила на треке соотечественников — русскую пару из Пущина. Мы сделали с ними кругов пять, а потом я повела их к корту, знакомить со своими. Краем глаза я заметила машину Луиса, отъезжающую с площадки.

Когда через неделю мы прибыли на трек, Луис крутился неподалеку. По-видимому, он сторожил наше прибытие. Что ж, посмотрит на моего «хазбенда». Хазбенд тем временем взглянул на «мексиканца».

— Мелковат, — бросил он, беря ракетки, и больше не глядел в его сторону. Наверное, такие «поклонники» не внушают опасений. В этот раз Луис был возбужден больше обычного.

— He is alt, — сказал он на своем странном языке, показывая рукой вверх. Видимо, в моем муже его больше всего поразил рост. Мифический «хазбенд» обрел наконец плоть и кровь. Неожиданно Луис подскочил ко мне и поцеловал в щеку. Мне осталось только рассмеяться и погрозить ему. И опять он произнес это непонятное «мучос». По дороге к теннисному корту меня вдруг осенило. Припомнилась известная латиноамериканская песня, в которой звучало что-то похожее на «мучос» или «самомучос». Мелодия у песни была настолько привязчивая, что я напевала ее всю следующую неделю.

В то воскресное утро было по-настоящему холодно. Снега на горах не наблюдалось, однако в воздухе пахло скорой зимой. Пока же вокруг царствовала осень. Домики, окружающие трек, стояли в разноцветной листве. Кругом было пусто. Только какой-то сухой американец в шортах прогуливал двух огромных, обросших шерстью собак. Интересно, будет сегодня Луис или нет? Заглядевшись на редкостную по краскам панораму гор, я не заметила его приближения. Он был грустен. Что-то говорил. Я его не понимала.

— I don 't understand you. What does it mean? — Он что-то прошептал.

Я опять не поняла. И вдруг до меня дошло: «амур», он сказал «амур».

Следующую фразу он произнес очень громко: «I live you», почему-то «live», а не «love». Даже такое затертое слово сумел произнести на свой лад. Он стоял переминаясь с ноги на ногу. Он снова говорил, что одинок, не женат и у него никого нет. Но я-то здесь при чем? Я-то замужем, у меня ребенок, сын. Я ничего не хочу менять в своей жизни. Я произносила американские фразы одну за другой. Он вздрагивал после каждой.

— I spero, — вдруг сказал он, «я надеюсь». Я пожала плечами. Он стоял у меня на дороге. Я его обогнула и пошла к корту. Оглядываться не стала. Муж и сын отдыхали.

Они разговаривали о машинах, и я решила их не прерывать и ничего им не рассказала.

Через неделю весь город засыпало снегом. Ехать на корт не было смысла, и мы остались дома. Все воскресенье мне было не по себе. Щемило сердце, отчего-то хотелось плакать. Я вспоминала, как Луис сказал мне «I live you», и было обидно, что все проходит и надежды, увы, не сбываются. В конце концов, — успокаивала я себя — вдруг зима еще немного повременит и в следующее воскресенье мы опять поедem на трек? Кто знает?

Осень 2000

In chiesa*

У дона Агостино появился помощник. Валерия его еще не видела, но Кьяра говорила, что «molto bravo» — молодой и красивый. Было странно, что молодые и красивые идут в католические священники, обрекая себя на целибат — обет безбрачия; тем любопытнее было на него взглянуть. Увидела его Валерия в церкви, на мессе. Высокий, очень крупный, с выразительными итальянскими глазами и пышными черными волосами, он обладал к тому же приятным голосом с четкими, выверенными интонациями. Валерия подумала, что женщины, составляющие большую часть паствы, будут покорены. Она искала глазами дона Агостино, но его на мессе не было, — наверное, уехал по делам. Бедному дону Агостино уже давно был нужен заместитель — *vice-parroco*, без помощников он крутился как белка в колесе.

Валерия успела привязаться к пожилому священнику. Из его рассказов она знала, что подростком он был отдан родителями — деревенскими ремесленниками — в церковную школу. С того времени судьба его была решена: отсутствие своей семьи, жреческое служение церкви. Между тем, Валерия видела, как тянется он к домашнему теплу. Как бы ни был он занят крестинами, похоронами, свадьбами, сколько бы служб в день ни проводил, — находил время зайти к ним «на чаек», приносил Оленке гостинцы. Валерия была бесконечно благодарна дону Агостино: в страшный час, когда умер ее муж и она, с дочерью на руках, осталась одна, в чужой стране, без работы и без денег, он пришел ей на помощь. Поселил у себя в церкви

* В церкви (с итальянского)

в пустующей квартире привратника, под самым чердаком, помог найти работу. Работа не ахти какая — она сидела с больным стариком, — но на этот миллион лир они с Оленкой могли более или менее сносно жить, если учитывать, что священник ничего с них не брал за жилье.

Народ расходился после воскресной мессы. К Валерии подошла Кьяра и громко, как могут только итальянцы, начала расхваливать дона Леонардо — так звали молодого священника. Между прочим она сказала, что тот учился на инженера, но страсть к религии перетянула и он продолжал образование уже в семинарии. Валерия в прошлой жизни тоже была инженером и внутренне обрадовалась этому совпадению. «Посмотри, посмотри! — Кьяра радостно кивала в сторону немолодой пары, только что вышедшей из церкви. — Это его родители». Она понизила голос, но он все равно долетал до ушей стоящих поблизости: «Крестьяне из Арчевии, им и не снилось, что сын станет священником. Смотри, прямо лоснятся от счастья». Смущенные старички прохаживались возле церкви, видимо, поджидая сына. Наконец он вышел, сменив церковное облачение на скромный цивильный костюм. Когда все трое проходили мимо, Кьяра окликнула мать Леонардо: «Sei felice, Leonella?» (Ты счастлива, Леонелла?) Та оглянувшись, торопливо кивнула и почему-то очень пристально, без улыбки, поглядела на Валерию. Взгляд был явно изучающий, Валерии стало не по себе.

Нового священника поселили в другом крыле церкви. Валерия там никогда не была, но всезнающая Кьяра, забежавшая после мессы к Валерии, рассказала, что комнатка, как в монастыре, — два стула, кровать, на стене железное распятие, шкафчик для одежды. «Маловато будет для такого гиганта», — подытожила Кьяра и почему-то шепотом, хотя они были одни, добавила: «Я ему свое зеркало принесу. У меня лишнее, а ему нужно — вон волосы какие, как у Самсона». Валерии хотелось сказать: «В отсутствии Далиль». Но она промолчала. Кьяре она старалась не говорить лишнего. Кьяра была приходящей домашней работницей у дона Агостино и волей-неволей являлась распространителем всевозможных слухов и сплетен. К Валерии

она относилась по-доброму, очень любила Оленку, та даже стала звать ее «поппа» (бабушка). Порой Валерию тяготило ее общество, как ни убеждала она себя, что лучше Къяра, чем тишина в четырех стенах. Но гораздо чаще Валерия нуждалась в Къяре, в ее болтовне, в простых и грубоватых манерах. Когда молодой женщине становилось особенно тяжело, хоть волком вой, они с Оленкой шли к «бабе Къяре», в маленькую вдовью квартирку неподалеку от церкви, и там за кофе, за разговором отогревались и веселились.

С уходом Къяры стало как-то особенно пусто. Сквозь занавеску кухонного окна било солнце, наступал послеобеденный час — итальянское помериджо, когда душа млеет и томится. Валерия не любила помериджо, с некоторых пор особенно тягостны стали воскресные вечера — незаполненное время грозило воспоминаниями. Она посмотрела на часы. До семи — времени, когда привезут Оленку, гостившую в семье одноклассницы, — еще далеко. Накинула на плечи легкую синюю куртку и вышла на улицу. Несмотря на солнце, в воздухе еще держалась прохлада. Валерия подумала, что такой ветреный мартовский денек вполне мог быть и в России, разница только в солнце — здесь оно нестерпимо яркое, — да в снеге, которого здесь и зимой-то не бывает. Секунду поколебавшись, она пошла по дороге к Дуомо. Это был ее любимый маршрут.

Необыкновенным был город, куда забросила ее судьба. Морской торговый порт в бухте, открытой в незапамятные времена еще греками, он располагался на бесчисленных холмах — так что не было в нем ни одной улицы без заметного уклона. Валерию поражало, что к морю она могла выйти, идя по вяле (проспекту) как в одном, так и в другом, противоположном, направлении. Говорили и хотелось верить, что это единственный на земле город, где солнце встает и садится прямо в море. Над морем, на крутой отвесной горе, высился главный храм округа — Дуомо. Огромный, неуклюже вытянувшийся, он был выстроен из остатков древнего храма Афродиты тысячу лет тому назад. Христианство в этот город принес еврей из Иерусалима, по имени Кирияко, ставший первым в округе христианским священником (весковым), а затем, — замученный

язычниками, — первым в этих местах святым. Храм носил его имя.

Валерия шла все вверх и вверх по узким, покрытым брусчаткой улочкам старого города по направлению к Дуомо. Там, где дорога ветвилась, она привычно выбрала нижнюю дорожку и пошла вдоль балюстрады, над которой нависали кроны высоких пиний, растущих по всему склону холма, упертого в море. Лента дороги шла отсюда вверх, к асфальтированной площадке на самой оконечности холма, где стоял Дуомо. Но туда ей не хотелось. Здесь, у балюстрады, открывался широкий вид на море, на шумный, гудящий кранами порт, на сказочно прекрасный город, раскинувшийся на холмах. От пиний шел одуряющий хвойный запах. Валерия прислонила лицо к мягкой хвое, на уровне ее глаз висела маленькая зеленая шишка. Сорвать на счастье? А вдруг дереву будет больно, как бывает, когда отрывают что-то родное? Валерия отдернула руку. Взгляд ее упал на дорожку: прямо у ее ног лежала точно такая маленькая зеленая шишка. Затаив дыхание, Валерия ее подняла. Было ощущение, что свершилось что-то сокровенное. Домой она шла медленно, почти не глядя по сторонам, сжимая в кулаке зеленую шишку.

На развилке, ведущей к Дуомо, ее кто-то окликнул. Она подняла глаза: перед ней стоял новый священник. Они не были знакомы, и она не знала, что сказать. Начал он: «Мне про вас говорили — вы русская. Я знаю, у вас случилось горе, — взгляд был добрый, сочувствующий. — Бог вам поможет». Он замолчал и вдруг добавил: «Два дня назад умер мой дядя, ближе у меня не было человека». Валерия подумала, что он вот-вот заплачет. Какое у него хорошее, совсем юное лицо. И вовсе он не дамский угодник, каким показался ей на мессе. Безотчетным движением она протянула ему шишку. «Возьмите это на счастье. У вас сегодня началась новая жизнь. Она, эта дочь пинии, принесет вам удачу». Священник медленно взял шишку из ее рук. Валерия кивнула и пошла вперед по дорожке. Шагов за собой она не слышала.

Приближалась Пасха. В Пальмовое воскресенье Оленка вместе с подружками продавала возле церкви окрашен-

ные золотом веточки оливы. В воздухе уже жила и торжествовала весна — примавера. Какая-то необыкновенная свежесть, разлитая в природе, понуждала людей бодрствовать, строить планы, радоваться своему существованию. Адольфо, старичок, за которым присматривала Валерия, впервые за много дней решил подняться с постели и, опираясь на ее руку, прибрел к церкви. Он сумел высидеть часть мессы, которую сегодня вел дон Агостино. Проводив Адольфо, Валерия вернулась в церковь. Дон Агостино завершал проповедь. Он то и дело обращался с вопросами к детям, которых обучал катехизису, — они занимали первые две скамьи в церкви. До Валерии доносился звонкий голос Оленки, смело отвечавшей на все вопросы. Валерия подумала, что теперь, с появлением дона Леонардо, простые и незамысловатые проповеди старого проповедника многим покажутся слишком пресными.

Дон Леонардо привносил в проповедь элемент актерства. Он выбирал случаи из жизни, почерпнутые из газет, и давал им моральную оценку, покоря аудиторию продуманными интонациями, выверенными паузами, модуляциями красивого голоса. «Наверное, их так учили», — думала Валерия, с грустью вспоминая такое юное и печальное лицо молодого священника там, возле Дуомо. Теперешний дон Леонардо отрастил бороду, что прибавило ему солидности и некоторой живописности. Его громкий выразительный голос проникал во все уголки церкви, разговаривал ли он с доном Агостино, поднимался ли по лестнице, напевая или весело насвистывая. В заброшенной кладовке на первом этаже он расставил клетки с птицами, рассадил на подоконнике неслыханной красоты и хладостойкости цветы, ухаживал за тем и другим все свободное время. Валерии казалось, что во всем этом есть что-то искусственное, фальшивое. Ей гораздо больше импонировал тихий и мудрый в своей простоте дон Агостино. Но и дон Агостино изменился в последнее время. Перестал приходить «на чай». В нем появилась странная раздражительность. Иногда — она замечала, — общаясь с собеседником, он вдруг замолкал на полуслове и уходил к себе. Что-то зрело между двумя прелатами, она ощущала какие-то подземные толчки. Ее

поражало, что Кьяра как будто ничего не замечала и не чувствовала — продолжала восхищаться обоими священниками, приговаривая в разговорах с Валерией: «*Tutti e due sono bravi*» (Оба молодцы).

Неделю назад Валерия позвала их обоих на свой день рождения. Приготовила воскресный обед, испекла любимый Оленкой ореховый пирог, купила красного вина «Rosso Conero». Пришли они ровно в час — шумный, экзальтированный дон Леонардо и молчаливый дон Агостино. Дон Агостино протянул Валерии книгу о Франциске Ассизском, дон Леонардо — красочный альбом о комнатных растениях. Когда они ушли, Валерия нашла вложенную в альбом карточку, на которой были каллиграфически выведены число и подпись «смиранный леонардо». Разговор в тот раз зашел в тупик. Дон Леонардо, услышав, что она читала теологические работы Честертона, воодушевился, начал задавать вопросы, между тем как дон Агостино молча и хмуро ел. Ей тогда стало ужасно неловко и стыдно перед доном Агостино, у которого, как она знала, было теолого-философское образование и который, однако, не проронил ни слова, явно не желая участвовать в их диспуте. Может, он обиделся на нее? В чем она провинилась перед ним? Этот вопрос терзал Валерию все последующие дни.

После обедни дети снова вынесли корзины с веточками оливы и продолжили праздничную торговлю перед церковью. На шесте рядом с ними висел плакат, оповещающий, что весь доход от продажи идет в пользу бедных. Валерия с Кьярой стояли неподалеку, Кьяра, как всегда громко, делилась своими впечатлениями. «Дон Агостино болеет — у него поднялось давление, поэтому проповедь сегодня такая короткая. А какая молодчина твоя рагаца! Весь катехизис наизусть знает!» Из церкви вышли нарядно одетые родители дона Леонардо, по праздникам они приезжали в гости к сыну. Кьяра помахала им рукой, и Валерии снова показалось, что Леонелла, мать Леонардо, взглянула на нее как-то особенно пристально.

Дон Агостино болел. К нему приходил врач, сказал, что нужен покой. Болезнь была особенно некстати в эти предпасхальные дни, когда священники ходят по домам,

благословляя свою паству. Валерии очень хотелось навестить дона Агостино, но было неловко. В конце концов она собрала корзинку «гостинцев», написала записку и попросила Оленку отнести все это священнику. Оленка долго не возвращалась, а когда пришла, вся лучилась. Дон Агостино расспрашивал ее о школе, об учителях и подружках, угостил вкусным ореховым струделем и велел поблагодарить маму за гостинцы. Но это еще не все, Оленка хитренько сощурилась и протянула Валерии открытку. На ней была известная в городе мадонна Кривелли, чье изображение висело в Дуомо, нежная, с опущенными долу очами. Как ни искала Валерия, никаких надписей на открытке не было.

За два дня до Пасхи к ним с Оленкой пожаловал дон Леонардо. В руках у него была большая синтетическая сумка, из которой выглядывали кочаны капусты, листья салата и другой зелени. Сумку он оставил на пороге, прошел в квартиру и очень торжественно благословил скудное, почти без мебели, жилище Валерии, состоящее из двух маленьких спален и кухни. Оленка следовала за ним по пятам — она только что закончила делать уроки. Помериджо переходил в вечер, наступали сумерки. Валерия зажгла свет на кухне, предложила дону Леонардо выпить чаю. Он не отказался.

Валерия разогрела остатки обеда, и дон Леонардо с аппетитом съел рыбу с картошкой. Валерия подумала, что, наверное, ему не хватает той еды, что готовит Кьяра. При его могучем телосложении и молодости вряд ли он наедался за обедом у дона Агостино.

Дон Леонардо как раз рассказывал, что ходит иногда в столовую для бедных, ест бесплатную похлебку. «Там вполне прилично кормят», — говорил он с улыбкой, и Валерии в этой улыбке снова мерещилось что-то неестественное, фальшивое. «Приходите лучше к нам, у нас с дочкой всегда есть обед», — проговорила она, и что-то дрогнуло у нее внутри. Со смертью мужа она не перестала готовить, но потеряла интерес к приготовлению пищи — Оленка ела плохо и мало. Совсем другое дело, когда готовишь для взрослого мужчины. Дон Леонардо никак не отозвался на

ее реплику, только еще более повеселел. Со смехом стал рассказывать, что каждый день под дверью находит огромную сумку с зеленью — видимо, какая-то прихожанка предполагает в нем склонность к вегетарианству. «Регулярно сдаю эту зелень Къяре, а сегодня решил поделиться с вами». Поднялся из-за стола и втащил сумку с зеленью на кухню. Чай пили вдвоем — Оленка ушла посмотреть телевизор. Глядя, с какой жадностью он ест варенье, Валерия думала, что, несмотря на свой священнический сан и густую бороду, в сущности, он еще ребенок, ребенок, оторванный от материнского тепла и ласки. Может быть, в пристальном взгляде его матери таилась просьба к ней, Валерии, поделиться с ее сыном домашним теплом?

На Пасху дон Агостино встал с постели и, еще слабый и бледный, вел службу. Читался текст Евангелия от Матфея, роль Спасителя взял на себя старый священник, Иудой был один из молодых прихожан. Люди, заполнившие церковь, замерев, словно в первый раз, слушали знакомую историю. Шла сцена «суда Пилата», и Валерия порадовалась, что за Христа выступает старый священник, так просто и естественно читал он текст. Дону Леонардо достались слова осуждения иудеев: «Кровь его на нас и на детях наших». Он произнес их так, что Валерии показалось, что церковь содрогнулась. Или это у нее самой закружилась голова? Пришлось схватиться за спинку соседней лавки. Была мысль: еще мгновение — и она потеряет сознание. Но обошлось.

Об ее еврействе знал только дон Агостино. Знал и хранил молчание — скажи он об этом хоть одному человеку, в ту же минуту узнали бы все. Валерия, как большинство русских евреев, не знала ни еврейского языка, ни религии, но еврейство сидело в ней крепко. В смутной детской памяти сидели дедушкины рассказы со всегда завершающей их фразой: «Израиль спасется!» Да, они жили в католической церкви, Оленка изучала вместе с итальянскими сверстниками катехизис, ну и что из этого? Валерия была уверена, что и Оленка ни за что на свете не откажется от своего еврейства, приносящего не только жизненные невзгоды, но и несказанную радость избранничества.

После праздничной пасхальной мессы народ долго не расходился. Къяра вышла из церкви вся заплаканная. В ней боролись два чувства: умиление перед подвигом Христа и ярость к тем, кто его казнил. Первое чувство сидело глубоко в душе, второе рвалось наружу. «Я бы своими руками придушила этих евреев», — как всегда громко делилась она с Валерией. «Еще говорят, что умные, где же их ум был — распяли Спасителя, а разбойника пощадили? Они и сейчас такие же — вон, говорят, пьют, как вампиры, христианскую кровь...». Валерия в испуге смотрела на Оленку. Та стала пунцово-красной и с искаженным лицом подскочила к Къяре: «Баба Къяра, что ты такое говоришь? Это все глупости. Мы с мамой еврейки — разве мы пьем чью-нибудь кровь?» Наступила тишина. Валерия взяла Оленку за руку, и под взглядами расступающейся толпы они проследовали к двери своего жилища.

Вечером Валерии позвонил дон Агостино, попросил спуститься к нему. Она посмотрела на Оленку, которая с независимым видом рисовала что-то, сидя за кухонным столом, вздохнула и открыла дверь. Дон Агостино полулежал в кресле, укутанный пледом; окна в его просторной гостиной были распахнуты — в них врывались снопы света и морской, напоенной зеленью свежести. Он говорил глухо, не поднимая глаз. Оказывается, весков уже давно предупредил дона Агостино, что присутствие в церкви молодой безмужней женщины нежелательно. Он, Агостино, все оттягивал этот разговор, но, по-видимому, переезд Валерии неизбежен. Он поговорит со своими знакомыми, чтобы условия найма не были слишком тяжелы и у Валерии оставалась какая-то толика денег на жизнь. Валерия молчала. Больше всего ей хотелось поскорее выскочить из комнаты и, заперевшись в своей спальне, вволю поплакать. Прощаясь с Валерией, дон Агостино встал с кресла и проводил ее к выходу. Стоя у двери, Валерия бросилась к священнику: «Спасибо вам, спасибо за все», — она не могла говорить, голос срывался. Лицо дона Агостино было близко-близко, в глазах его стояли слезы: «Ялюбил вас, тебя и твою дочку. Вы — как моя семья. Ты ведь тоже немножко любишь меня, правда?» Он смотрел вопрошающе,

хотел еще что-то добавить, но осекся и замолчал. Валерия вышла.

Через неделю они с Оленкой переезжали. Квартира нашлась аж в другом городе, так что они, если не навсегда, то надолго прощались с церковью и ее обитателями. Дон Агостино снова заболел и глядел на них, махая рукой из окна. Кьяра хлопотливо помогала перетаскивать корзинки и тюки, а дон Леонардо подарил Валерии на прощанье огромный букет неслыханной красоты роз.

Декабрь 2000